ЛОНДОНОВСКИЕ ТЕЛЕГРАММЫ

СБОРНИК РАССКАЗОВ

Буфет

Я подошёл к буфету.

— Продайте мне батону, — сказал я.

— Не продам, потому что батоны кончились, — ответила продавщица.

— Продайте мне что-нибудь другое.

— Ничего нет. Всё разобрали.

— Мне бы кусочка хлебу.

— Нету и крохи.

— Да как вы так можете?

— Хотите, жалуйтесь.

— Хочу; дайте мне жалобныя книгу.

Дали мне её.

Я написал: «Не продали батону и хлебу, ничего словом не продали».

— Помогите мне едою, накормите меня котлетами.

— Ничего не осталось. Ничегошеньки.

— Я не ел сорок дней.

— Всё разобрали.

— Возьмите из дому соли и хлебу, ибо я умру скоро так.

— Ничего нет.

Постъ

Кашель мучает изо дня в день. Как будто хочешь свернуть горы, а как будто — ничего не хочешь. Ты странно слоняешься мимо сельской церкви, держась за рёбра, и отгоняешь от себя суть пищи; внутри просыпаются различные, чаще негативные, чувства: раздражительность, усталость, скорбь, страх. С момента поста прошло три дня, которые я промучился с лишком, можно сказать, незаслуженно болезненней, чем голод даётся человеку обычно. Сначала на твои мысли наступает нога, отсоединяя тебя от суеты; но это очень кратковременно. Я даже, бывало, надеялся только на сон — то есть думал, как он приятно ляжет на усталое тело и разум. Что я получал в итоге, под конец дня, почти истративший волю? Первичную лень встать с кровати. Левую часть мою — ногу, руку и затылок — кто-то натягивал в разные стороны, потом отпускал, снова тянул, играл, щипал, и всё это мягонько, без какой-либо злости на меня.

Забываю молиться. И вы, постясь в нашей деревне, забывали бы так же; не от краха веры, но от неверия в свои силы, но от ужасной неспособности, недействительности видеть вещи значимыми. Конечно, это страшно — незачем пытаться оправдать себя, когда ты молишься через богохульную улыбку и краешком глаза поглядываешь на виноград; задерживаясь на нём, ты явно различаешь и подгнившие плоды, и мошек, ползающих там. Признаться, я никогда не сгонял их, если сам не ем, — думал, что это признак какой-то дьявольщины и, как можно догадаться, тут же вспоминал последнюю рубаху, которую я, хоть свято околевший, отдам другому ближнему.

Так, молитва во время поста приземляла меня, но проблема моя была и в том, как остро смещается угол обзора на привычные вещи. Я не был слабым, а голод был сильнее; однако я не про чревоугодие, я про слепоту разного цвета, которая накладывается на глаза и меняет представление о людях. Кому известно о резком духовном парении, тот поймёт меня далее. Он происходил, вероятно, у всех постящихся одновременно и «зажигал» нашу деревню глубоким религиозным настроением: некоторые плакали над образом, а старухи, сотни раз прошедшие это, гладили их по голове; бабы, улыбаясь, всё твердили о том, что пойдут рожать у реки, пусть и мужей к этому моменту не имели; а вот матери, не дозволявшие поститься своим детям, бывало, оставляли их дома и уходили подолгу бродить на природе — так голод перенести легче. (Дети, принимавшие яства — как раз уродил вкусный, чёрный виноград, — донимали мамок суетливостью, и покинуть их тогда виделось правильным, чистым решением.)

Вы могли бы это наблюдать, если бы жили рядом с покосившейся мельницей, церковью в два этажа, маленькими сенными домами. Светлая сторона и прикрывалась; теперь я вижу себя, стоящего у

затопленного дождём рва, и стучу в двери пожилой женщины. Мне открывают, я вхожу, кланяюсь и говорю:

— Мир вашему дому.

Голос у меня сдавленный, сухой.

— Что пришли? — Женщина в платке ясно на меня смотрит.

Попросить помощи при искушении было совершенно приемлемым, и я, почти выеденный, приходил к ней.

— Садися на кухне.

Когда садился, борол вопрос о воде (женщина и не пила).

«Всем тяжко; что ж ты хотел? Молитву читай, гуляй, дома не сиди: оно давит, давит...» Так она всячески меня подбадривала, и был ей благодарен. На столе, покрытом белым полотенцем с золотыми крестами, стояла корзинка с печеньем. От этого вида набирались во рту слюни. За общением пролетело мучительного часу, что и не заметил, а выйдя от неё, я увидел радугу над кладбищем.

Каньон

Вдоль длинного ручья шла колонна людей; это восстали гробовщики, могильщики и те, словом, кто посягает на жизнь. Они шли с уверенностью и знали свой путь; их было много, под пятьдесят человек, все одетые в чёрное тряпьё, как при трауре, разного роста и возраста. Рядом со своими родителями за руку прогуливались дети — они, вероятно, на жизнь не посягали, однако обязывались присутствовать. Колонна была невооружённая, довольно хаотичная, но не дающая противнику передохнуть, шаг их твёрд, как скала, и пронзительный вой соколов кружит над ними. Это было то место, которое создаёт песчаные тучи при беге; такое место, приравнивают которое к каньонам Америки, но и такое, какое не позволит своему языку выразиться на манер американца.

Ночью пешая орава могильщиков зажигала факела, чтобы не угодить в ямы, а к рассвету использовала палки для поддержания тела, от продолжительного движения спины болят, а чресла ноют о еде, которую трудно было найти. Мужи, подобно медведям, ловили рыбу из ручья голыми руками; для того, чтобы пойманная рыбка не ускользнула, забивали её палками и камнями, а потом ополаскивали от налипшего песка. Были и те, кто вскрыл брюхо рыбы прямо в воде, об острую сторону выступающего валуна, по вечернему привалку обязательно поджарив молочко и съев его с хлебом. С едой было так же строго, как и со сном: спали группками, вповалку, тесно друг к другу. Нападающие по ночам животные обладали мерзким свойством стаиться. Как было сказано, люди не имели при себе хорошего оружия, а только палки, и поэтому часто боялись остаться одни, вдали от скопления товарищей. Количество летящих в зверя камней отпугивало его.

Женщины, как и мужчины, забывали о половой жизни.

— Давай попьём воды, — крикнул кто-то, подбежав к кому-то.

Приглашение попить воды — доверительный жест остановки у ручья, особенно здесь: они были на самом конце колонны, и никто не мог бы прикрыть спину двум изголодавшим, севшим у ручья фильтровать воду.

Они остановились и время замедлилось. Один черпал, а другой держал на весу особое приспособление, название его никто не знал. Когда последние люди отдалились, глазу стала заметной едкая температура, которая не один день выпаливала всё вокруг. «Это не просто жар! Это образ красного солнца Андреева». Такое наблюдение, будто бы из-под земли доносится горящий голубой газ, волнуя спёртый воздух здешних ущелий. Вероятно, это видно стало потому, что общий поток людей движим, в то время как голубой газ — недвижим.

По обыкновению первые несколько секунд они шептались, а перейдя на говор отточенный и внятный сказали будто каждый сам себе:

«Пошли».

Хотя они это сказали, что-то пригвоздило их к песку сидящими статуями; один проливал воду, а другой наливал её, чтобы первый пролил. Страх возбудил желание плакать, но только до того, чтобы скривиться. Поднявшись чуть над собой, они посмотрели в отражение собственных лиц: стянутые, глубокие, сжатые до двух чёрных точек вместо глаз, клювика вместо носа, кривых ушей. Волны проходили по ручью и обезображивали их ещё больше, что они встали и побежали к колонне, оставив фляги на песку.

Малахитовая шкатулка

Качаясь на качели, можно представить много разной несуразицы. Вот попаду я в глубокую шахту. Буду рыть всяко разное, колоть, добывать. Нагружу себе полные щёки драгоценных камней, навдыхаюсь метана. Никакая хозяйка меня не облукавит.

Лёгкие

Здесь, если не соврать, проживает сорок четыре человечка, это не селение как есть: церкви нет; скорее лагерёк, построенный беженцами из Вьетнама после окончания войны. На карте места не найти потому, что о нём никто и не слыхал; это такое место, где вспаханные клочки земли засеяны рисом, будучи не огороженными забором. Но как красиво закатние лучи ложились на холмистые пригорки, у скопления домов с необычной крышей: помимо соломы жители накидывали гигантские, растущие в изобилии лопухи; а лучи, о коих я начал, отбрасывали от лагерька длинные чёрные тени, и от хибарок, и деревьев, и людей, с утра до вечера трудящихся над влажной почвой и давящих клещей. Не редко их можно заметить покуривающими дикую коноплю, оттого, особенно в домах стариков, всегда пахло густым, каким-то хвойно-смолистым… Курили и табак. Так что вы, находясь рядом с трудящимся мужиком этого лагерька, обязательно почуете пропитавшийся в потную кожу табачный дым.

Но отставим эти грехи: сейчас солнце, опустившись за горизонт, разольёт на небе золотисто-розовую лазурь, потом стихнет, посинеет, набухнет серым, проступят звёздочки и настанет простая летняя ночь. Жители поговорят у порога и разойдутся, чтобы плотно закрыть двери — от змей, — и занавесить окна, на которых красуются вязаные из рогожи москитные сетки; на вечер каждый, кто боялся больших комаров, конопатил окно бамбуком.

Природа тут красива и страшна: комары, которых прибивали рукой, оставляли на ладони маслянистую кровь, и ведь не зная, какую гадость они могли переносить, приходилось мыть конечности в выведенном из сахарного тростника спирте; у реки не предпочитают стираться, она слишком смежна с оранжево-серой топью; азиатская зелень, вероятно, для читателя покажется дикой (а на деле являющейся ядовитой); грибочка в лесу не найти; ярко-голубые соцветия, перемешиваясь и переплетаясь с лозой на вышине, создавали пугающую картину: рядом со съедобной ягодкой, в два пальца, свисла смертельная поганка, обведённая лиловыми лепестками и набитая белыми пучками внутри, у нас зовущаяся лисьей ягодой. Дети не могли добраться её, она росла высоко и вила такую плетень с деревьями, что отгоняла любого низкорослого азиятца; нынче на месте троп, по которым ходят женщины изо дня в день чистить бамбук, лежали застывшие, каменистые следы от колёс; кое-где копали: на краешку лагерька вырыли котлован с рыжим глиняными пластами на дне (из них пекут посуду). И ещё много могу рассказать о таком затейливом месте, как наш лагерь, не названный никак и никому не ведомый. Но перейду ко второй части рассказа, кто есть я.

Довелось мне родиться в семье скотовода и портнихи. Отца

призвали, когда мне было десять годочков, и с того времени работал много и разнообразно: носить цемент, чистить обувь и даже стоять на попечении у врачей, выполняя их поручения наловить живности, например жаб, в кишащих мошкорой болотах (а бывало, меня посылали на сырые угольные жилки ловить крыс). Затем многих моих работодателей тоже призвали — остался я один, семнадцати лет, на тот час с пышной русой шевелюрой, имевший овальную, несколько дворянскую, как бы выразились за бугром, голову. Мой нос был вострым, а глаза горели предубеждением, свойственное многим детям того времени.

Таким меня подобрал от гибели мой дедушка, вернувшийся из Африки после новости о смерти моей мамы. Я вспоминаю, как он был загорел и молод, полон сил; никогда он не обделял меня похвалою, улыбка его отражала всю доброту и сливалась с косточками кулона, когда она скалил зубы. Ах, как приятно вспоминать, дорогой читатель! И хотя дедушка поведал мне трагическую правду об отце, погибшем в плену, и о матери, желавшей утопить меня после рождения, когда отец пропадал на полях, — я переносил её с надеждой; чтобы вскоре познакомиться с любовью и преклонить голову к её ногам. Это случилось, как гром среди неба, на грузовом судне, плывущем в Южную Африку поставлять цейлонский чай.

Сначала буря побудила меня спрятаться в кают-компании, где тогда засиживались дедушка и она, дочь капитана, с влажными от успевшего окропить дождя волосами, в бронзовом пальто и кожаных штанах на подвязках; острые черты лица сделали её старше, чем было на самом деле, а тоненькие бледные веснушки, россыпью покрывшие щёки, играли при улыбке. Я осмелился сесть рядом, когда дедушка позвал меня. До сих пор вижу пред собой белый пух волосиков, который она не причёсывала, робкий смех от дедушкиных слов и честный, хихикающий в ответ на мои ласки, когда мы оставались наедине. Приходилось прятаться от дедушки и её отца, который не редко глазел на море из своего кубрика.

Я был уже не ребёнком — стало мне на борту девятнадцать, и я чувствовал себя счастливым, молодым. Без смущения она целовала мои руки, а я целовал её, в порыве обещая обмолвиться сразу после прибытия в Африку, где отец хотел оставить её прислужницей знатным торговцам. И однажды на берегу пляжа брезжил рассвет, после которого я стал другим. Она, юная и властная, но такая простая, откусила персик; сок капнул на колени, она вдруг сказала: «Слава тому дню, когда меня обесточили». «Что?» — спросил я. «Теперь забей меня до смерти».

Я ожидал, дорогой читатель, как из её уст польются стихи и романтические просьбы заколоть — но она говорила бить её по животу, «чтобы бог пришёл во свидетели»… Я хотел плакать, и не медля рассёк я свою прядь волос и дал ей, в знак смирения.

Родная деревня была разграблена мародёрами, и мы кочевали.

Теперь уж мне есть о чём рассказать: с того момента прошло пятьдесят лет, неповторимых, горьких и болезненных пятьдесят. Любовь всей моей жизни набралась морщин, поседела — только иногда, признаться, мимолётно увидев её, мне кажутся её волосы не седыми, а белыми, какие я имел честь трогать; паутинка рубцов на месте веснушек состарила её; про голос и говорить нечего: хриплый, уж угробленный табачком; пропала былая нежность руки, теперь ладоньки её шершавы от работы с бурьяном, но так же розовы и полны крови, как и в юности; не любит больше она вспоминать отца, может зарыдать и проклясть меня от внутреннего, не разделённого старостью, горя.

Я написал эту историю и спокойной выдохну теперь. Память оставлена. Гляжу в окошко: она топчет виноград, в фетровой шляпе, утирает пот, льющийся от солнца. Мне всё хуже. Говорю: легчает, легчает, а сам терплю боль и горюю по молодости. Лёгкие совсем не те — да заболели. Сейчас пойду и прилягу. Человек как кошка, — мяукнет у коленей — попрощается — и уйдёт. Хотя, дорогой читатель, это не совсем справедливое замечание…

Голгофа

Действующие лица

Тибет.
Яма. Японский бог.
Сосед.

Действие первое

Тибет.. Смотрите на него, висящего на кресте.

Яма. Не знаю, кто ты, но посмотри на себя: мудрость проела твои книги, как черви. Мне понятно, что страдание форма мёда; я понял это вчера.

Тибет. Я люблю небо и облака, они созданы не для меня, а про меня. Ты же гиена, ты скалишься и смеёшься, забывая о мясе, что ел вчера.

Яма. А какова на вкус кровь: ты не знаешь?

Тибет. Я испил и свою, и чужую.

Яма. В загробном мире есть ты: смотри, как похоже лицо на Идзанаги. Ты стар и считаешь, что прав; но отнюдь не так определяется вера.

Тибет. Оглянись, ты, распятая сука, вокруг: сколько лета! Не уметь полюбить траву, по которой ты пеш, равнозначно убить свою мать; ты был убил свою мать?

Яма. Трава, по которой я пеш, вогнала в меня три стекла. Стоит тебе замечтаться, сидя в храме, кто-то поймёт — и убьёт тебя, и кровь он узнает на вкус, он увидит вишнёвую кровь… Свою мать? Я был любил, да только я бог: я создал маму прежде, чем любовную ласку.

Тибет. Ты не создатель, Яма: в тебя трудно поверить; силён духом тот, кто в бессмыслии жаждет понять.

Яма. Так говорил Камю.

Тибет. Нет, он молчал.

Яма. Взгляни на небо.. Оно одно на двоих, но я — ненавижу его, потому что над ним распятый; ты — любишь его, фарисей.

Тибет. Одно в этом мире лишь ты.

Яма. Ты.

Тибет. Тебя, как виновного в том, что ты бог, призвали пахать Голгофу; когда ты кричал, что гора — не земля, — не было слышно хохота. Цитировал миф о Сизифе с пилатовской точностью. Пахал эту гору три года, пока настоящий сын бога умирал на кресте.

Яма. Ты забываешь: я болен, и покуда была жива моя воля, я истинным был. Преподобного я истязал, морил его голодом, он голодал, но блюдце не тронул. Он умолял сесть под деревом.

Тибет. Ты видел его грехи: в твоём царстве положено так.

Яма. Я видел ребра выступающий след.

Тибет. Ты бы убил свою мать. Я пойду: тучи заменили ясное небо моё. А твоё?

Яма молчал.

Тибет. Глупость начала из уст твоя — кончается безумием; ты брызжешь ядом на меня, мне жаль тебя.

Яма. ...А как меня Бафомет величал? — «Он святой, да безлик. И ему повезло: я — козёл».

Тибет уходит с Голгофы.

Яма. Екклесиаст мой раб.

Сосед. Возлюби врага, как ближнего своего.

Яма смотрит на соседний крест.

Яма. Ты Христос?

Сосед. Нет: но тот, кому он обещал быть вместе с ним в раю.

Яма. И он солгал?

Сосед. Ни за что: у него лжи нет, как и там — в раю, откуда он родом.

Яма. Сколько ты его ждёшь?

Сосед. Не скажу тебе точно… но порядком тысячи лет.

Яма. Он заставил поверить тебя: в пустоте бессмыслия это выживание.

Сосед. Я бы перекрестил тебя, но не могу.

Яма. Я бы любил тебя даже в аду.

Сосед. Нет, ты же — такой же, как я? Не сатана ли пришёл?

Яма. Может быть, сатана. Кто таков? Он сильнее меня?

Сосед. Он подлее змеи.

Яма. Сильнее меня — с волею я

Сосед. Воля господа нашего. Он и в праве решить: стало быть, плут или бес мой сосед.

Яма. Мне двоюродный брат — делал минет.

Сосед. Иоанн-креститель?

Яма беснуется.

Яма. Ещё одно слово, червяк! Я проглочу и съем!

Сосед. …Я слышал ваш разговор: но не услышал ответ. Смог бы ты, братец мой, убить свою мать?

Яма. Я отвечал: моя мать не от мира сего и если сосать, растает, как лёд.

Сосед. Правильно: ибо писалось: тот, кто полюбит больше мать, не заслуживает его.

Яма. Перестань, перестань, Христа ради! Поговорим о литературе? Или о Фудзияме?

Сосед проглатывает язык.

Яма. Падучую создал грех.

Приходит *Тибет.*

Тибет. Попей, несчастный мой.

Яма брезгует.

Тибет. Пей, несчастливый, до дна.

Яма. Что ты даёшь ему… сатана?

Тибет. Отвар из лягушачьего яда.

Яма. Отчего же?

Тибет. Он совершенен.

Сосед. Вы ищете смысл там, где господь, как шайтан, стёр его; он говорит: не оставит тебя, пока не сделает то, что обещал тебе.

Яма. И что он обещал мне, сукин сын?

У *Сосед*а отнимает речь.

Тибет. Он там, где ты никогда не бывал.

Яма. На радость ему: где я бывал — сущий мрак.

Действие второе

Тибет. Ты когда создавал, не знал, что получится; люди тоже не знают. Ты поверил, что это верно: уведомить о конечности.

Яма. Просветлённый, скажи: я достаточно усложнил? Долго ли ты боялся?

Тибет. Всю жизнь, *Яма*, всю жизнь.

Яма. Она подошла к концу?

Тибет. Да, я погибну здесь, прильнув к кресту; изуродовав плоть, в которую ты обернул меня. Я всё-таки знаю, что бог — чей-то сын. Даже ты — чей-то сын.

Яма. Как скоро ты станешь писать текста?

Тибет. Какие текста?

Яма. С понятным только тебе объяснением.

Тибет. Никогда!

Гнилеизлияние

— Боже, торопись! — кричала она, взбираясь на деревянный дом.
— Боже, Каноника! открой эту форточку: жарко…

***

У старого пятнистого колдуна, которого звали Кари, не было дочерей. То есть: и сынов тоже. Поэтому он часто натыкался на таких же старых домохозяек.

***

Звёзды в конце поля оранжевые. Подлетают, меркнут, радужные. Человек из нашей толпы смело идёт в густые кусты; на ноге его тату: длинные дороги, исчезающие в теории перспективы; взвинченные цветы.

***

С недавнего времени добраться сюда без приключений невозможно. Зато вы получите сполна, и свой отдых и чужой. Зыбун скользит, как крот…

Трагический смысл

Подвыпивший мужчина работал молотком, находясь над парящим, работающим реактором на металлических длинных листах, продольно положенных так, чтобы пар выходил между. Вдруг в мужчину выстрелил поток кипящей материи, сварив лоб и приклеившись к нему; мужчину подкинуло, он упал, а листы начали нагреваться от сбоя в работе реактора; следовательно, спину ужасно жгло, что побудило его привстать и ринуться по листам к концу обрыва. Пьяная походка помешала ему: мужчина оступился, в тот же момент реактор сотряс всю конструкцию, гога попала в пустоту между листами — мужчина повалился животом, а взрыв пара снизу подбросил тело ближе к краю. Затем, напитавшись силой от агонии, он поднялся и побежал прочь, как будто попадая на листы (спина, лоб были повреждены и начинали плавиться, что повлекло ослепление). Так, на самом последнем листе, от которого оставалось прыгнуть через метровую бездну, мужчина с разбегу сильно ударился головой о балки, расположенные параллельно листам сверху; удар свалил мужчину прямо в реактор.

Вы до сих пор помните точечный выстрел плавящейся, раскалённой эссенции, попавшей и въевшейся чуть выше глаз; помните, как молоток выскользнул из его рук; как он отчаянно пытался спастись от неминуемой, мучительной боли. Вы оставите пренебрежительный комментарий: «Людям трагического смысла побеждать смерть» и безэмоциональный смайлик, давая понять, что горько иронизируете.

Лето 2025 — май 2026 гг.